12+

ЭХО РЕАЛЬНОСТЕЙ

роман · Книга первая

«Всё у тебя будет, мальчик.
А счастья не будет.»

Петр Суздалев

Петр Суздалев

Эхо Реальностей

«Издательские решения»

Суздалев П.

Эхо Реальностей / П. Суздалев — «Издательские решения»,

Ивару тридцать семь. Дом, дело, два диплома и слава лучшего повара Рамоля — города, выросшего из живых корней. И ни капли счастья: «Всё у тебя будет, мальчик. А счастья не будет» — обещала цыганка шестнадцать лет назад. Но в вечер, когда гаснет очаг, а в стене открывается проём в чужие миры, у Ивара впервые есть выбор: ждать вручённое счастье — или сделать его самому. Философское фэнтези о цене ожидания и цене действия. Здесь счастье не приплывает по реке — его носят с собой.

© Суздалев П.
© Издательские решения

Содержание

ЭХО РЕАЛЬНОСТЕЙ 6
Серия «Эхо реальностей» 6
Рамоль — Этерия 7
Предисловие 8
Содержание 9
Часть первая. Путь 10
Глава первая. Очаг гаснет 10
Глава вторая. Сквозь Врата 14
Глава третья. Мир пепла 18
Глава четвёртая. Возвращение 23
Глава пятая. Эхо навета 25
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Эхо Реальностей

Петр Суздалев

© Петр Суздалев, 2026

ISBN 978-5-0071-7317-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЭХО РЕАЛЬНОСТЕЙ
роман
Книга первая

Серия «Эхо реальностей»

Пётр Суздалев. Эхо реальностей.
© Пётр Суздалев, 2026
Все права защищены. Ни одна часть книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя

Рамоль — Этерия

Предисловие

«Всё у тебя будет, мальчик. А счастья не будет.»

Эти слова цыганка сказала Ивару на рынке Рамоля — города, выросшего из живых корней, где энергия течёт по лозам-улицам, а каждый очаг горит живым светом. Мальчик посмеялся и забыл. Прошло шестнадцать лет — и оказалось, что слова имеют вес. У Ивара есть дом, дело, два диплома и слава лучшего повара города. И ни капли счастья. Ровно как обещали.

Он уже смирился — до вечера, когда в его кухне погас очаг. А в стене, где всегда была глухая тьма, открылся проём, пахнущий чужими мирами.

Так повар с двумя дипломами и одним «проклятием» выходит на путь через реальности: выжженный город пепла, где столетиями ждёт последняя стражница; белую ледяную пустошь, где старик стережёт последнее тепло; подводную глубь, где его ждёт Тала; и торговый узел, где продают всё — включая правду. Пять огоньков-памяти, одна нить, стянутая из всех миров, и спаситель, который веками собирает чужой свет ради «одного совершенного очага» — потому что искренне верит: так будет милосерднее.

«Эхо реальностей» — философское фэнтези о цене ожидания и цене действия. Здесь счастье не приплывает по реке — его носят с собой. Здесь даже вечного врага можно не победить, а вернуть ему его собственный огонёк.

Книга для тех, кто любит миры, продуманные до корней; героев, которым сначала нужно победить самих себя; и антагонистов, в чьей правоте страшно узнать себя.

Содержание

Действие первой книги разворачивается в Этерии — мире, похожем на наш, но устроенном иначе. Его сердце — город-лес Рамоль: дома вросли в живые стволы, улицы-лозы тянутся между кронами, а вся энергия города течёт от корней Первого Дерева. Здесь есть очаги, рынки, пекарни и законы, как в любом настоящем городе, — но каждый очаг питается живым светом, который можно носить с собой.

Помимо Рамоля, есть другие реальности, соединённые Вратами. Каждая из них — отдельный мир со своей природой: выжженный пепельный город, белая ледяная пустошь, подводная глубина и торговый рынок, где покупают и продают всё, включая правду. Через эти миры тянется общая нить — и от того, кто возьмёт её в руки, зависит, угаснет ли свет или вернётся.

Герой — Ивар, повар из Рамоля с экономическим и юридическим образованием. Повествование начинается с того, что в его кухне гаснет очаг.

Часть первая. Путь

Глава первая. Очаг гаснет

Очаг в кухне «Старой липы» погас тихо. Настолько тихо, что Ивар понял это не по свету — свет стал меркнуть, — а по звуку. Гул, низкий и ровный, как дыхание спящего зверя, на котором и держался весь дом, вдруг оборвался. Не сбился, не захрипел на полпути, а просто перестал существовать.

Ивар стоял в трёх шагах от него, с подносом в руках, и смотрел, как пламя — синее, живое, вскормленное самой тканью Рамоля — сжимается до спички.

Внутри него что-то тоскливо и привычно кольнуло. «Ну вот, — сказал внутренний голос, ровный, будничный, как скрип половицы. — Началось. Как всегда. Довелось же.»

Он не стал бросаться к очагу. Не побежал, не закричал, не принялся колдовать над живыми углями, как делал в молодости. Он просто поставил поднос на стойку — дерево дерева, выросшее из той же почвы, что и весь город, — и вытер руки о фартук.

«Опять ты мимо, — вздохнул голос. — Всё мимо. И очаг мимо, и жизнь мимо.»

Ивару было тридцать семь. Для Рамоля, где люди жили долго и с толком, — ещё не старость, но уже и не молодость. Возраст, когда человек либо что-то делает, либо тихо соглашается на то, что ничего не сделает. Ивар давно перестал угадывать, к какому из двух берегов его прибивает.

Прожитые годы дались ему всем, что положено: кухонный очаг, свой угол, звание, уважение соседей. Корочка и паспорт в одном кармане, диплом — в другом: высшее юридическое, потом экономическое, две пыльные бумаги, за которые он когда-то сражался. Ему было чему радоваться. Всегда было чему. И это-то и съедало его изнутри — потому что радости не было.

Было всё, а счастья не было.

Ивар поймал себя на том, что произносит эту фразу вслух.

— Всё у меня есть, — сказал он очагу. — А радости нет. Это ты, старая. Ты мне это наплела. Помнишь?

Очаг, разумеется, не ответил. Он, как и положено умирающему, уставился в одну точку посреди своей глиняной чаши — туда, где ещё полминуты назад горело сердце пламени. Синее мерцание истончалось, как рвущаяся нить.

За спиной Ивара, на кухне, стояла та самая тишина, которая бывает только перед падением. Ни сковороды не звякнут, ни вода не капнет, ни ветка за окном не скребнёт по стеклу. Город задержал дыхание. Только где-то вдали, очень далеко, между деревьями-кварталами, что-то тонко и жалобно взвыло — будто живая нить, тянувшаяся через весь Рамоль, натянулась и застонала.

Ивар посмотрел на окно.

Всё, что он любил в этом городе, умирало на его глазах — медленно, так привычно, что он почти перестал замечать. Листья на старых стволах бурели не по осени: бурыми делались только те, что росли вдоль осевших магистралей. Лозы-дороги, по которым скользили капсулы, истощались, как постаревшие мускулы. Энергия — та самая живая, тёплая, что текла снизу вверх по корням и по ним всему городу — меркла. Улицы, где ещё год назад яблоку негде было упасть, пустели. Люди не уезжали — они растворялись, как гаснущий свет, уходя в свои кварталы и захлопывая ставни.

Ивар знал, что это не его дело. На то в Рамоле есть городские корни, лесные надзиратели, хозяйственные советы — те, у кого в шкафах пылятся дипломы поважнее его двоих. Пусть они и разбираются. Пусть кто-нибудь разберётся.

Очаг кашлянул. Синее пламя рванулось вверх, как раненое, на миг вспыхнуло в полный рост, разгоняя по стенам живое тёплое свечение, а потом рассыпалось на десятки бледных искр, прокатилось по глиняному дну и погасло.

Кухня «Старой липы» встретила вечер холодом.

Ивар стоял и смотрел на тёмное сердце своего очага — того очага, на котором он кормил город шестнадцать лет, — и чувствовал, как по спине стекает ледяной, но удивительно знакомый холодок. Тот самый холодок, что всегда приходил к нему, когда что-то ломалось. Когда не доводилось. Когда жизнь, завязавшись крепким узлом, тихо распутывалась на его глазах, и он стоял рядом, смотрел и ничего не делал.

«Можно было спасти. — Голос не спрашивал, он утверждал. — Можно было шагнуть, докричаться, вцепиться. Ты же знал, что он хиреет. Ты же видел, как гаснет всё вокруг. И что ты? Ничего. Ты просто стоишь и ждёшь, когда тебе вручат готовое счастье. Как тогда. Как всегда. Как она и сказала.»

Он почти выдохнул начало знакомой молитвы. Что-то про то, что всем так, что у всех своя ноша, что жить — значит терпеть. Но холодный воздух очага ударил в лицо, и молитва умерла на губах.

Ивар обернулся к стойке, где стоял поднос с нетронутыми блюдами. Тонкие ломти горного мха, нашпигованного огненными орехами; запечённое в живом молоке перо ранней птицы; корень, томлённый шесть часов в трилистнике так, что раскрывался на языке теплом. Еда была безупречной. Еда всегда выходила у него безупречной — таких двоих, как Ивар, в Рамоле днём с огнём не сыскать.

Еда выходила превосходной. И ни одной живой душе за этим столом не было радостно.

«Всё у тебя будет, мальчик. — Голос цыганки всплыл из глубины, как обычно, без спроса. Тёплый, насмешливый, уверенный. Базарный, в пёстром, с серьгами, что мелодично звенели на ветру. Ей было лет сколько угодно — в Рамоле такой народ не старится на глазах. — Всё будет, слышишь? И дом, и дело, и слава, и уважение. Денег — куры не клюют. Еды — на сто ртов. Всё, что захочешь, — всё будет у тебя, мальчик.»

И он, дурак, рассмеялся. Спросил, шутя: «А счастье? Моё счастье мне тоже будет?»

Она посмотрела на него долгим, глубоким взглядом — тем самым, от которого у людей холодок идёт по коже. Помолчала. И когда он уже решил, что не ответит, сказала негромко, почти ласково:

— А вот счастья, мальчик, не будет. Никогда. Всё будет — а счастья не будет. Запомни это от меня.

Он посмеялся тогда. Суеверия, старые басни, базарная брехня. Посмеялся — и забыл.

А жизнь, сегодняшняя, завтрашняя, недельная, месяц за месяцем и год за годом, взяла и доказала ей правоту. Однажды незаметно для него самого. Сложила ему на стол всё — постепенно, без рывков, как накрывает утка жаром. И убрала со стола то единственное, что делало жизнь жизнью.

Иногда Ивар думал, что это не проклятие. Что цыганка просто увидела то, что было. Увидела, что в нём нет места для счастья, — и честно, по-базарному, сказала ему об этом, в око за окно. Что не она украла его радость, а он сам где-то её потерял — и тень от этой потери легла ему на всё: на еду, на очаг, на город.

А иногда, по ночам, когда он не мог уснуть, ему казалось иначе. Что дело было в словах. Что слова имеют вес, и что чужие слова, сказанные уверенно и вовремя, ложатся в человека, как семя во влажную землю, и прорастают ровно тем, чем им сказали прорасти. Что цыганка не увидела его будущее — она себе его сочинила, а ему дала с ним жить.

И что ему стоит только захотеть — и выдрать это семя из себя с корнем.

Но он никогда не мог захотеть достаточно сильно.

Дверь кухни отворилась.

На пороге стояла старая Зельда — хозяйка «Старой липы», одна из тех корней, что держали весь квартал. Она была сухой и прямой, как трость, и в лицо Ивару смотрела с той привычной усталой насмешкой, за которой пряталось что-то тёплое.

— Ивар, — сказала она. — Огонь на нижнем этаже тоже погас. У Арона над мостом. У Мирны в пекарне. Говорят, через шесть кварталов ни один очаг не горит. Ты слышишь, что я тебе говорю?

— Слышу, — сказал Ивар, не отводя глаз от своего.

— И что ты мне на это скажешь?

Он развёл руками. Спокойно, ровно, не поднимая глаз:

— Ничего. Я повар, Зельда. У меня руки для еды, а не для чудес. С очагами пусть корни разбираются. Пусть надзиратели. Пусть кто с дипломом.

Зельда молчала долго. Так долго, что Ивар в конце концов поднял глаза — и увидел, что старуха смотрит на него не с насмешкой, а почти с жалостью.

— У тебя два диплома, Ивар, — сказала она тихо. — Я видела их. Лучшие мыслители, лучшие мироустроители этого города. Не чудо к ним приходит — они сами его строят. А ты… ты стоишь тут с руками для еды и говоришь, что ни при чём.

Она покачала головой.

— Я тебя шестнадцать лет знаю. Я твою кухню знаю. Еда у тебя такая, какой в Рамоле не было со времён старых корней. И при этом ты — пустой. Стоишь у очага, живого, полного, а в глазах у тебя — зола.

Ивар сглотнул.

— Зола, — повторила Зельда, — это то, что остаётся после огня. А у тебя, мальчик, и огня-то не было. Был очаг, была еда, было всё — а огня не было. Ты знаешь почему?

Она не ждала ответа. Повернулась и ушла, прикрыв за собой дверь, — и холодный сквозняк скользнул по кухне, коснувшись Иварова затылка.

Он остался один перед мёртвым очагом.

И он, отвыкший за годы, не стал включать привычный внутренний голос, что ныл про то, что всем так и что не его это дело. Он просто стоял и смотрел на золу, на тёмную глину, на холодное сердечко того, что было его жизнью.

«Зола после огня. — Ему показалось, что он слышит не чужую фразу, а что-то своё — давно забытую. — А если огня не было вовсе? Если всё это время я…»

Его рука, сама собой, потянулась к холодному краю очага. Ивар не знал, чего ждал. Чуда? Наверное, да. Из глубин той девочки-мальчика, каким он был когда-то — того, что смеялся цыганке в лицо и не боялся ничего, — поднялась крошечная, ослепительная, незнакомая ему за годы мысль:

«А что, если прав был не ты? Что, если счастье можно не ждать, а сделать? Что, если надо просто перестать ждать, когда его вручат, — и пойти взять?»

Пальцы легли на край глиняной чаши. Ивар зажмурился. Сколь давно он не зажмуривался от желания, а не от головной боли? Годы, должно быть.

И тогда за его спиной, в глубине кухни, между двумя старыми стволами, что прорастали сквозь кухонную стену и уходили корнями в самое сердце Рамоля, — там, где днём всегда висел самый густой полумрак, — что-то дрогнуло.

Ивар не обернулся сразу. Сначала он понял по звуку — тот самый звук, с которого начался вечер, только наоборот. Не гул, обрывающийся в тишину, а тишина, из которой вдруг, неожиданно, зрело что-то. Глухой, глубокий, тянущийся низом гул, как будто где-то в недрах здания разворачивался огромный, дремавший в плотной коре мускул.

— Зельда? — позвал Ивар, не оборачиваясь. — Ты вернулась?

Ответа не было. Гул не усилился, но стал отчётливее — он шёл откуда-то снизу и из глубины, из-за стены, из-за корней, сквозь которые сочился свет разноцветных галерей-улиц этого вечера.

Ивар медленно, преодолевая странную дрожь в ногах, обернулся.

Между двумя старыми стволами, там, где полумрак всегда был гуще всего, теперь не было стены.

Был проход.

И это был не тот проход, который Ивар знал с детства, — не узкая щель для уборщиков, не запасной ход, что вела к чёрной лестнице. Это было что-то совсем другое. Проём не имел формы: он был то ли дверью, то ли трещиной, то ли глазом, то появись, то пропади. Сквозь него, словно сквозь толщу очень тёмной и очень тёплой воды, сочился не цвет и не свет, а само обещание цвета и света. Пахло оттуда не кухней — пахло чем-то далёким, неизвестным, что у Ивара язык не поворачивался назвать знакомым.

Внутри проёма, на самом краю, висела ветка странного дерева — не такого, каких полон Рамоль. У неё были серебристые, почти прозрачные листья, и они-то и мерцали тем самым обещанием света, которое Ивар видел сквозь проём.

Ивар стоял перед ним, в трёх шагах, и чувствовал, как сердце — сердце, которое он сам считал давно мёртвым, — колотится где-то в горле.

«Всё у тебя будет, мальчик. А счастья не будет. Запомни.»

И где-то очень глубоко, под слоями привычной золы, под голосом цыганки, под шестнадцатью годами тихого угасания, — что-то тонкое и упрямое ответило ему, впервые за всю его взрослую жизнь:

«А может, я сам себе его сделаю.»

Ивар шагнул в проём.

Глава вторая. Сквозь Врата

Шаг был самым обычным. Ивар сделал тысячу таких шагов за свою жизнь — из кухни в кладовую, из подвала на улицу, с порога за порог, когда нога сама находит опору, а телу даже не надо смотреть, куда ступает. Такой же шаг он сделал и сейчас, навстречу проёму между двумя старыми стволами.

Просто не было стены.

Он не успел ни испугаться, ни передумать, ни прислушаться к тому внутреннему голосу, что в последние годы всё шептал осторожное «погоди». Между мгновением, когда подошва его башмака оторвалась от плитки кухни, и мгновением, когда она должна была опуститься на что-то снова, — между этими двумя мгновениями уместилось всё.

Сначала было ощущение, будто пол исчез. Не провалился, не рухнул вниз — исчезла сама идея пола, идея верха и низа, тяготения и опоры. Ивар на секунду завис в пустоте, не понимая, падает он или взлетает, и сердце, не готовое к такому, пропустило удар, а потом грохнуло с такой силой, что в ушах зазвенело.

Потом он понял, что не один.

Тьма вокруг него была не пустой — она была *полной*. Она гудела, дышала, тёкла. По ней то и дело проскакивали всполохи цвета такой чистоты, что у Ивара на секунду перехватило дыхание: синее, какое бывает только в самой глубине пламени, какого не бывает в Рамоле, — и зелёное, тёмное, как дно старого пруда, — и бледное серебро, точь-в-точь то, что мерцало на листьях дерева у проёма.

Он попробовал крикнуть. Из горла вырвался не звук, а слабый выдох, который тут же утонул в гуле — его не то услышал, не то поглотил.

Ивар понял, что движется. Не он сам — его несло. Несло вперёд, туда, где гул становился ниже, а цвет — гуще, как будто где-то впереди сужалось горло огромной трубы, и оно затягивало его к себе, как течение затягивает щепку к стоку.

Он перестал бороться. Не потому, что сдался, — а потому, что вдруг, с неожиданной для себя ясностью, осознал: бороться не с чем. Паника, которая поднималась было из живота, осела. Вокруг не было ни угрозы, ни злобы, ни той холодной, чужой силы, которую он ожидал почувствовать, шагая в разлом. Было другое.

Было внимание.

Тьма не просто поднималась ему навстречу — она *смотрела*. Не глазами, не из точки, а всем своим объёмом, всей своей глубиной, медленно и терпеливо, как смотрят на то, что давно ждали. И в этом взгляде не было ни враждебности, ни доброты. Была только огромная, спокойная вопросительность, от которой у Ивара вдруг пересохло во рту.

«Ты это? — подумал он, не решаясь думать громче. — Ты что ещё такое?»

Гул впереди дрогнул — один раз, второй, — как струна, которую тронули, проверили и оставили.

И Ивар вывалился из тьмы.

Он не упал. Он просто оказался — сразу, целиком, будто его извлекли из трубы и поставили, как шахматную фигуру, на прохладный камень.

Колени подогнулись. Ивар осел на землю, упёршись ладонями в камень, и несколько секунд не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, — воздух был совсем другой, гуще, и пах не так, как в Рамоле.

Потом он поднял голову.

И чуть не зажмурился от света.

Вокруг него стоял лес, но не тот лес, в котором он прожил тридцать семь лет, — не Рамоль с его ровными стволами-кварталами и лозами-дорогами, не ухоженный, причёсанный,

знакомый до последнего сучка родной город. Этот лес был диким. Первобытным. Он поднимался вокруг Ивара со всех сторон на такую высоту, что у него шея заломило прежде, чем он разглядел кроны, и в этих кронах тонуло всё: и купол неба, неожиданно чужого, светлее и белее, чем ромольское, и полоски далёких гор, что ни с того ни с сего проступали между стволами, и — дальше всего — свет, лившийся откуда-то сверху и сбоку, незнакомым, бледно-жёлтым, неживым светом.

Ивар поднялся на ноги, неловко, хватаясь за ствол ближайшего дерева.

Дерево под его ладонью было шершавым, с корой, изрезанной глубокими морщинами, как лицо очень старого человека. Ивара кольнуло. В Рамоле не было таких деревьев — там были живые, гладкие, молодые, человеколюбивые. А это дерево было древним и относилось к нему безразлично, как камень.

Он опустил взгляд.

Прямо перед ним, на траве, лежала серебристая ветка. Она была сломана — неровный излом белел у самого основания, — и первые листья её уже начали вянуть, теряя тот свет, что Ивар видел сквозь проём в кухне.

Он наклонился и поднял её.

Ветка была лёгкой, почти невесомой, и в ладони лежала прохладной. Ивар повертел её. Серебристые листья — их было пять — на глазах теряли цвет: из серебристых становились бледно-серыми, мертвенными. Где-то в глубине сознания шевельнулась неясная мысль, что эта ветка — ключ, что без неё путь назад, к проёму, будет не найти, и что она умирает, — но мысль была слишком зыбкой, чтобы за неё уцепиться.

Ивар оглянулся.

Позади него, на месте, где, по логике, должен был быть выход, высился всё тот же ствол — древний, морщинистый, равнодушный. Никакого проёма. Никакой щели. Только кора и свет, пробивавшийся сквозь крону.

— Ну, — сказал Ивар вслух, и голос его прозвучал в этом лесу чужаком, сухим и тонким, — и что теперь?

Лес не ответил. Лес вообще не собирался разговаривать.

Ивар медленно, привычным движением повара, сунул ветку за пазуху — туда, где в Рамоле он носил записную книжку — и огляделся уже по-настоящему, памятью, что за тридцать семь лет научилась видеть кухню насквозь пятью пальцами.

Он стоял на небольшой поляне, со всех сторон сомкнутой лесом. Сквозь деревья, в трёх разных направлениях, виднелись просветы — будто тропы, хотя настоящих следов на траве не было. Под ногами, по краям поляны, лежали плоские серые камни, старые, замшелые, — но Ивар за двадцать лет службы и не такую кладку видывал, и глаз его вдруг, ни с того ни с сего, поймал странную аккуратность. Камни ложились не как попало. В них угадывался ритм, шаг, чья-то давняя, тщательная рука.

Он нагнулся. Пальцы прошлись по одному из камней — гладкому, отполированному не ветром, а чем-то иным.

— Это не природа, — пробормотал Ивар, и сердце от этой простой мысли пропустило удар. — Это кто-то выложил. Когда-то. Дорога была.

Он поднял взгляд на просвет, что глядел на восток, туда, где свет становился гуще.

«Надо понять, куда я попал, — сказал он себе. — И найти обратный путь. Ветка… ветка умрёт. А без неё я, похоже, не найду проём. Значит, надо двигаться, пока она ещё не совсем завяла.»

Внутри, где-то между рёбрами, шевельнулась знакомая леность — та самая, что годами шёпотом предлагала «погоди, присядь, посмотри, может, само пройдёт». Ивар почти послушался. Почти плюхнулся на землю, сложа руки, и стал ждать чуда, как ждал его последние шестнадцать лет.

Но в ушах, некстати, внятно прозвучал голос Зельды:

«Ты — пустой. В глазах у тебя — зола. А зола — это то, что остаётся после огня. У тебя и огня-то не было.»

Ивар сглотнул.

— Не сегодня, — сказал он вслух, неизвестно кому. — Сегодня зольник закрыт.

И шагнул в сторону восточного просвета.

Лес встречал его шумом, которого Ивар не слышал в Рамоле никогда за жизни. Здесь всё говорило. Листья — не похоже на ромольские, плоские и гладкие, а дырчатые, кружевные, струившиеся, как вода, — шуршали над головой непрерывным, мягким, дремотным звуком, в котором Ивару мерещились почти слова. Где-то в глубине, за стеной зелени, ухала птица — низкий, протяжной зов, у которого не шло сравнение с трелями ромольских синиц. Раз, два, три — три разные птицы перекликались через лес, и каждый раз ответ приходил откуда-то неожиданно, то совсем близко, то пугающе далеко.

Ивар шёл, и с каждым шагом лес обступал его плотнее, а чувство, что он не в Рамоле, оседловало в нём всё глубже. Не то чтобы он ждал города — нет. Он просто постепенно, палец за пальцем, отпускал от себя привычную уверенность, что мир устроен так, как он его знал. Что у деревьев есть корни, у улиц — концы, а у любого прохода — обе стороны.

Камни под ногами упорядочивались. Тропа, поначалу едва намеченная, становилась отчётливее: Ивар то и дело замечал у самых камней то хрупкую оленью кость, произнесённую каким-то зверем, то обломок глиняного сосуда, изукрашенного витой краской, то, однажды, — медленно круглевшую в земле дырку от давнего, очень древнего колышка, вокруг которой даже трава успела переродиться.

Он шёл долго. Солнце — чужое, белое, бледное — ползло по небу неспешно, длинно, так, будто день в этом мире тянулся медленнее, чем в Рамоле. И эта замедленность тоже казалась знаком.

К вечеру, когда белый свет начал густеть и золотиться, Ивар вышел к реке.

Она была необычной. Вода в ней не текла, как в ромольских каналах — тихо, мирно, по расписанию, — а шла широко, ровно, с глухим, низким, никогда не затихающим гудом, и по этой блестящей, коричневой, тёмной воде, как по живому плоту, неторопливо проплывали целые деревья — вырванные с корнем, старые, мёртвые. Имприва взглядом провожал их. На одном из них, скрючившись, сидела птица размером с хорошего пса, вся голая, кожастая, с красно-синим горлом. Она не обратила на человека никакого внимания — только повернула голову, проводив взглядом реку на юг.

На том берегу, в полумгле, угадывалось что-то тёмное и ровное. Не скалы. Не лес. Слишком правильное для природы.

Лодок у берега не было. Мостов — тем более. Только вода, тёмная и густая, с утопленными в ней корнями, и на том берегу — та самая правильная темнота.

Ивар замер. Он стоял у самой кромки, глядя через реку, и по-настоящему испугался, как давно не пугался, — не так, как пугает резкий звук или падение, а тихо, холодно, из-под самого нутра. Это был тот страх, что приходит, когда понимаешь: то, что ты искал, — совсем рядом, и оттого, что оно рядом, деваться некуда.

Из-за пазухи он вытащил ветку.

Листья — их было пять — за время пути потеряли почти весь серебряный свет. Пять бледно-серых, вялых, умирающих листков на лёгком, осиротевшем стебле. Ещё немного — и серебристый свет уйдёт совсем, и тогда обратного пути не будет вовсе, потому что без ветки Ивар не вспомнит, не удержит, не смог-то-что́.

Он стиснул её в ладони так, что побелели костяшки. И вдруг — откуда-то, неизвестно из какого угла души — в нём поднялась, вздыбилась, больно ударила в горло неожиданная, слепая, почти звериная злость.

Злость на цыганку. На «всё тебе будет, мальчик». На голос, что годы шёпотом уверял: погоди, присядь, всё само. На собственную шестнадцатилетнюю покорность, на золу своих глаз, на то, что он стоял сейчас у чужой реки с умирающей веткой в руках и даже толком не понимал, зачем шагнул в тот проклятый проём.

— Хватит, — сказал Ивар вслух, и голос его дрогнул. — Хватит ждать. Хватит сидеть и ждать, пока мне вручат. Счастье не вручают, Зельда. Счастье делают.

Он не знал, откуда взял эти слова. Наверное, отдельно, из тех глубин, которые так долго молчали, что их голос он уже перестал различать.

Он поднял ветку на уровень глаз.

— Ну, — сказал он ей, — показывай. Ты меня сюда привела. Ты и дорогу обратно знаешь. Не смей умирать, слышишь?

И в тот же миг что-то произошло.

Может быть, ветер. Может быть, изменился свет. Но умирающие серебристые листья вдруг, будто почувствовав его хватку, вздрогнули — не от ветра, по отдельности, по одному, — и на самом кончике самого верхнего, самого бледного листка зажёгся крошечный, дрожащий, серебристый огонёк.

Нет. Не огонёк.

Ивар, смотревший на ветку не дыша, вдруг увидел, что это — не свет. Это память. Память не о том, что было, а о том, что могло бы быть. Память о дороге, по которой ему предстояло пройти, — она дрожала на кончике листа, точкой серебристого света, и тянула его за собой, вон туда, на восток, через реку, туда, где в полумгле стояла та самая правильная темнота.

Ивар сунул ветку за пазуху. Вдохнул поглубже — живой, густой, чужой воздух этого мира.

И пошёл вдоль берега вверх по течению, туда, где река сужалась и где, сквозь шум воды, ему вдруг почудился смутный, дальний гуд — на этот раз не воды, а металла. Множество разных звуков несло это течение: крики птиц, шелест, далёкий рёв; и посреди всего этого, низко, как дрожащая струна, — гул, от которого у Ивара мурашки побежали по рукам.

Он шёл на этот гуд. Не отрывая лица от восточного берега, где правильная темнота вырисовывалась всё отчётливее, он шёл навстречу первому из чужих миров — туда, где его, самого обычного повара с двумя дипломами и одним проклятием, ждали неведомые ему до сих пор ответы.

И впервые за тридцать семь лет Ивар не ждал.

Ивар шёл.

Глава третья. Мир пепла

Гуд металла привёл его на рассвете.

Всю ночь Ивар шёл вверх по течению, держась восточного берега, и всю ночь тот низкий, тянущийся звук — как у гигантского натянутого нерва — ни разу не замолчал. Он не приближался и не удалялся. Он просто *был*, ровный и далёкий, как дыхание мира, который вдавливает тебя в себя с самого рождения.

Под утро река сузилась. Вода, ещё час назад широкая и коричневая, побежала быстрее, закрутилась у камней, задышала. Ивар остановился на берегу, чувствуя, как ноги гудят, а рот пересох, — он не пил, не ел ни разу с того самого шага из кухни, и тело начинало проявлять характер.

А потом он увидел его.

На противоположном берегу, надалеко от слияния реки с чем-то чёрным и широким, что уже не было рекой, а было скорее полосой спекшейся земли, — стоял город. Вернее, то, что от него осталось.

Ивар замер, не дыша.

Это не был Рамоль. И это не был вообще жилой город. Перед ним простирались руины — гигантские, ровные, страшные в своей правильности. Рядами, как исполинские свечи, стояли почерневшие, обугленные башни. Одни целые, по самую крону, другие — вполовину, со срезанными, будто ножом, верхушками, откуда свисали спекшиеся, рваные узлы. И всё это — башни, стены, ворота, пристань — накрывал сплошной, до горизонта, слой пепла. Серого. Плотного. Мёртвого.

Там, где в Рамоле были лозы-дороги, здесь тянулись ровные полосы пепла. Там, где Ивар привык видеть живую энергию, сочащуюся из стволов, здесь зияли чёрные, ничем не заполненные пустоты. Не от чего было зажечь свет. Не из чего взять тепло.

Воздух над руинами был неподвижным. И в этой неподвижности, в этой абсолютной, обескровленной тишине, у Ивара волосы на руках встали дыбом.

Он понял: то, что лежит перед ним, когда-то *жило*. Оно было живым точно так же, как Рамоль, — городом, деревом, организмом, сердцем. А теперь оно мертво до основания. Не старо. Не сгорело в пожаре. Именно *забрали* — у него что-то забрали, и то, что осталось, — это только оболочка, зола после огня, о котором она даже не помнит.

«Зола, — подумал Ивар, и слово это легло на язык сухим камнем. — Зола после огня. А у тебя, мальчик, и огня-то не было.»

Он тряхнул головой, отгоняя голос Зельды. Но она была права — и эта правота больно кольнула его, потому что перед ним лежал город, который *сгорел*, а значит, у него был огонь. Огонь был. А Ивару за всю жизнь не довелось увидеть своего.

Серебристая ветка за пазухой дрогнула — Ивар почувствовал это через ткань. Он вытащил её. Листья были почти совсем серыми, только на кончике верхнего ещё теплился тот крошечный серебристый огонёк-память, что вёл его сюда. Сейчас он горел ровнее, чем вчера, и тянул — теперь Ивар отчётливо ощущал это, как ощущают натяжение верёвки, привязанной к груди, — вон туда, вглубь руин, между двумя особенно высокими обугленными башнями.

— Значит, туда, — сказал Ивар ветке. — Значит, я иду туда.

Он не стал переправляться через реку вброд — вода в ней была слишком тёмной, слишком густой, и что-то под ней задевало одежду, когда он попробовал воду ногой. Вместо этого он пошёл вверх по течению, туда, где река, сузившись, подходила к самой кромке пепельного города, и там, к его удивлению, обнаружил мост.

Мост был странный — полуразрушенный, но не разбитый. Его опоры уходили в воду, а настил, когда Ивар шагнул на него, оказался не из дерева и не из камня, а из спекшегося,

бурого, почти стеклянного материала, местами обугленного в глубину. По бокам, через каждые несколько шагов, торчали из настила короткие обрубки столбов — срезанные перила. Словно кто-то когда-то шёл по этому мосту, отрезая от него по одной секции.

Ивар шёл, ступая осторожно, и каждый шаг отдавался глухим, неживым звуком.

На середине моста он остановился.

Внизу, под ним, в тёмной воде у опор, что-то шевелилось. Ивар глянул вниз — и на секунду ему стало холодно, хотя день, если это был день, не был холодным. Из воды, из тёмной мути, прямо под поверхностью, двигалось что-то длинное и гибкое — не рыба, не коряга. Оно тянулось, как ободранная ветвь, вдоль опоры, ощупывало её, как ощупывают землю в поисках опоры, и вдруг — одним коротким движением — нырнуло на глубину, оставив после себя в воде расходящийся круг.

Ивар не стал разглядывать. Он ускорил шаг и сошёл с моста на твёрдую пепельную землю города.

Тишина здесь была плотнее, чем за рекой. Она накрывала не уши — грудь. Ивар шёл по широкой, ровной магистрали, и пепел под его башмаками скрипел, как сухой песок, но это был не песок. Это было растёртое в мелкую пыль всё, что когда-то составляло этот город.

Он подошёл к первой башне.

Она была настолько высокой, что у него снова заломило шею, прежде чем он увидел крону. Ивар вытянул руку и коснулся ствола.

Кора оказалась холодной. Не мёртвой — именно *никуда не ведущей*. В Рамоле, коснись он ствола, под ладонью просыпался бы слабый, тёплый ток живой энергии, как пульс под кожей. Здесь же кора была абсолютно инертна, как камень, и под его ладонью от неё отвалился кусок — сухо, беззвучно, обнажив пористую, белёсую, мёртвую сердцевину. Внутри, в полости, что открылась, было пусто и сухо, как в выветренной кости.

Ивар отдёрнул руку.

По горлу прошёл спазм — не страха, а чего-то более древнего, что не знало слов. Он вдруг остро, болезненно понял, что перед ним не просто город. Перед ним — то, что может случиться с Рамолем. С его очагами. С его лозами. С его Зельдой, с его «Старой липой», с его улицами, где он годами варил, парил, томил, кормил — и не чувствовал ровным счётом ничего, кроме сухой, привычной усталости.

Ветка за пазухой снова потянула его — на этот раз сильнее, так, что Ивар почти физически ощутил, как его разворачивает в сторону прохода между двумя высокими башнями.

— Иду, — прошептал он. — Иду я. Не дёргайся.

Он двинулся вглубь города, и чем дальше шёл, тем сильнее стягивался вокруг него пепельный мир. Промежутки между башнями заполнялись обломками; там, где когда-то, судя по всему, были площади, лежали ровные, грустные ряды того, что могло быть скамейками — Ивар с трудом разобрал под слоем пепла формы, — и всё это, всё до единой щели, было накрыто тем самым равнодушным серым саваном.

Посреди одной из таких площадей стоял колодец.

Он был единственным, что выглядело целым. Круглый, сложенный из пожелтевшего камня, с кривой ржавой перекладиной и древним, обвисшим веревьём, что свисало в тёмную глубину. Вокруг колодца лежало несколько выдолбленных корыт — таких, в каких в Рамоле поили скот, — и два плоских столешницы-валуна, будто сюда приходили за водой и едой.

Ивар остановился перед колодцем. Пальцы сами, привычно, нашарили сухую рукоять ведра. Он повернул перекладину — та взвизгнула, но пошла, — и потянул вверх. Ведро было тяжёлым. Прохладным. Когда оно показалось из-под кромки, Ивар увидел, что оно полно воды — чистой, прозрачной, живой, до краёв.

Он, не думая, опустил в неё ладонь. Вода была ледяной, хрустальной. Он зачерпнул, поднёс к губам, сделал глоток — и в тот же миг его отпустило.

Тепло. Редкое, чистое, живое тепло разлилось по груди, по рукам, по ногам, как будто его долго держали в холодной воде и вдруг вынесли на солнце. Ивар выпил ещё, потом ещё, и вода эта была не просто водой — она была утолением. Знакомым, глубоким, таким, какое он забыл, каким даже не знал, что соскучился.

Он вынул руку из ведра. На ладони, на самом донышке, где ещё блестела влага, вдруг снова — уже на коже, не на листе — замерцал тот самый крошечный серебристый огонёк. Не свет. Память.

Ивар замер, глядя на него, и в этот момент, ни с того ни с сего, перед глазами его встала картина — незнакомая, не из его жизни, но вдруг до боли отчётливая.

Берег той же тёмной реки. Но живой. Закат, такой золотой, что у него защемило. И на берегу, у самой кромки, в траве — маленькая девочка лет восьми, с растрёпанными тёмными волосами, вся перепачканная чем-то сладким и пахучим, смеётся. Рядом с ней — старуха в пёстром, с звенящими серьгами, вьёт что-то из травы — венок, наверное, — и обе они смотрят на воду, на деревья, плывущие по широкой реке навстречу закату, и там, на том берегу, стоит такой же город, как тот, что теперь лежал в пепле, — только живой.

Ивар моргнул. Видение исчезло. Он стоял посреди пепельной площади с ведром в руке, и сердце колотилось где-то у горла.

— Это не моя память, — прошептал он. — Это… чужое. Это город тебе отдаёт. Он помнит, что было. Он помнит, каким был.

Он опустился на колени перед колодцем и вдруг, не стесняясь, нагнулся и коснулся лбом тёплой, влажной каменной кромки.

— Я помню, — сказал он городу. — Я видел тебя. Ты был живой. Прости.

Он не знал, за что извиняется. Но что-то в нём, какое-то давнее, забитое за шестнадцать лет чувство — чувство, что можно горевать о незнакомом, любить город, которого ты никогда не знал, — поднялось и наполнило его до краёв, как то ведро водой.

Ветка за пазухой рванулась — так сильно, что Ивар чуть не уронил ведро. Серебристый огонёк на кончике листа вспыхнул, разгорелся в полную силу и потянул его — властно, неодолимо, — прочь с площади, в узкий проход между двумя высокими обугленными башнями, туда, где гуд металла, что вёл его сюда всю ночь, вдруг снова налился глубиной.

Ивар поставил ведро на камень. Вытер мокрые руки о фартук — о ромольский белый фартук, чужой в этом сером мире. И пошёл туда, куда звала ветка.

Проход между башнями оказался уже, чем казался. Стены сходились порогами, обугленные, кривые, и в один момент Ивар понял, что идёт не по улице, а внутри чего-то. Внутри гигантского, пустого, высохшего ствола. Свет сюда почти не пробивался, и только впереди, в самой глубине, пульсировало что-то — неровное, глубокое, как далёкое сердце.

Он шагнул навстречу этому сердцу.

И вышел в центр города.

Перед ним открылась огромная, круглая площадка — сердцевина пепельного мира. Здесь не было пепла. Здесь, по кругу, толпились десятки обугленных фигур — не из дерева, а как будто из того же спекшегося материала, что и мост, — и все они, все до одной, стояли, повернувшись к центру, где возвышался столб.

Столб был высотой с Ивара ростом и ещё на половину его. Он был целиком из спекшегося, запёкшегося металла, и на его вершине, в трёх коротких шипах, зажато было что-то, что мерцало тёплым, настоящим, живым светом — единственное живое в этом мире.

Ивар подошёл ближе, и сердце его ухнуло.

Это был осколок. Небольшой, размером с кулак, с неровными, будто отбитыми, гранями. Из него, как из раны, сочилось то самое тёплое свечение — то же, что он почувствовал от живой воды в колодце, то же, что было на кончике серебристого листа. Он лежал в тисках из чужого, инородного металла — втиснутый, впаянный, как зуб, который кто-то загнал и заклинил.

Ветка в руке Ивара дрогнула, потянулась к осколку сама, сама собой — и серебристый свет на её листьях вспышкой отразился в тёплом свете осколка. Огоньки встретились.

И в этот момент в центре пепельного мира, у самого подножия столба, откуда-то сверху — или изнутри, Ивар не понял — вниз спланировала фигура.

Ивар отступил, мгновенно, всем телом. Фигура приземлилась на пепел бесшумно, легко, как падает лист, — и когда подняла голову, Ивар увидел её лицо, и мороз прошёл у него по спине.

Это была не тень и не призрак. Это было то, что осталось от человека, — кожа, обожжённая до бурого спекшегося состояния, глаза, стеклянные, смотревшие куда-то мимо, и руки, скрюченные перед собой, — руки странника, который держал перед собой что-то невидимое, оберегая.

От неё не пахло горелым мясом. От неё не шло ни жара, ни холода. Она просто *была* — и в том, как она стояла перед осколком, развёрнутая к Ивару, но не глядящая на него, было что-то, отчего у Ивара ком подступил к горлу.

Он понял, что это последний страж. Что этот человек — когда-то живой, когда-то, наверное, любивший этот город, — остался стоять у осколка, который пытались забрать, и не ушёл. Не смог. И даже когда всё вокруг него превратилось в пепел, он остался.

— Я не за тем, — сказал Ивар, и голос его дрогнул, как тронутая струна. — Я не забрать. Я пришёл… я не знаю, зачем я пришёл. Но я не отниму у тебя свет.

Стражница не ответила. Её стеклянные глаза смотрели сквозь него — не видя, но *помня*. И в этой памяти, в том, как она стояла, скрючив руки перед осколком, как мать, прикрывающая от холода ребёнка, Ивар вдруг увидел то самое видение: берег, закат, девочка со смеющимися волосами и старуха с серьгами.

Это была она. Девочка из видения выросла, стала женщиной, стала стражницей своего города, и город сгорел у неё на глазах, а она осталась.

Ивар медленно, не сводя с неё глаз, опустился на колени.

— Я помню тебя, — сказал он. — Я видел тебя на берегу. Ты смеялась. Я не знаю, как, но я это видел. И я не отдам твой свет никому.

Он не знал, что происходит. Он не знал, зачем говорит это. Но в тот миг, когда слова сорвались с губ, что-то в пепельном мире дрогнуло. Ветер — первый за всё время — прошёл по площади, всколыхнул пепел у ног, и стражница, впервые, медленно, — моргнула.

Ивар поднял ветку.

— Мне нужно уйти домой, — сказал он. — Мне нужен путь. Может… ты знаешь его.

И стражница, не разжимая губ, вытянула вперёд одну руку — спёкшуюся, скрюченную — и указала: не на ветку, не на осколок, а куда-то в сторону, за спину Ивара, туда, где в стене пепельного мира, почти незаметный, темнел ещё один узкий проход. От него шёл холодный, живой сквозняк — и пахло оттуда не пеплом, а Рамолем. Иваровым родным, живым запахом озона, влажного дерева и остывшего очага.

Ивар медленно поднялся. Он оглянулся на осколок в тисках, на девочку из видения, что стала стражницей, — и ему вдруг мучительно, до слёз захотелось не уходить. Захотелось остаться, сесть у колодца, полить город, попытаться что-то оживить. Но он был Иваром, поваром с двумя дипломами, и он знал цену нерешительности. И он знал, что ветка умирает.

— Я вернусь, — сказал он стражнице. — Я не знаю когда, но я вернусь. И я принесу воды из того колодца. Обещаю.

Она не ответила. Но что-то в том, как она стояла, скрючив руки, остыло, расслабившись — как будто она наконец услышала то, что столько лет не слышала: что её город не забыт.

Ивар развернулся и шагнул в узкий проход, от которого тянуло родным, ромольским воздухом.

За его спиной, в пепельном центре мира, девочка-стражница ещё долго стояла, глядя ему вслед, — а тёплый свет осколка в металлических шипах, дрогнул и мигнул, как живое, тронутое чем-то сердце.

Ивар шагнул в проход — и пепельный мир схлопнулся за его спиной, обдав его на прощание сухим, тёплым дыханием выжженной, но помнящей земли.

Глава четвёртая. Возвращение

Ивар вернулся в Рамоль тихо — тише, чем ушёл.

Он не помнил, как проходил назад сквозь проход. Помнил только, что нёс его холодный сквозняк, пахнувший озоном и влажным деревом, и что на том конце, в глубине тьмы, снова стояла та самая приглушённая, полная внимания тишина — та, что смотрела на него, когда он входил впервые. Только теперь во взгляде тьмы не было вопросительности. Была сдержанная, почти одобрительная узнаваемость, как у сторожа, который дождался своего и пропускает.

А потом тьма раздалась, и Ивар вывалился в знакомый полумрак кухни, в запах остывшего очага и сухого дерева, — и стал, покачнувшись, посреди родного помещения, оглушённый тишиной и светом.

На кухне было холодно. За окнами стоял серый, ранний свет — Ивар понял, что отсутствовал дольше, чем показалось: из вечера, из томного заката он шагнул сюда, в утро, в блёклое, стылое, ни свет ни заря, время между двумя порывами ветра. На столе, нетронутый, всё ещё стоял его поднос с блюдами. Ломти горного мха уже подсохли, огненные орехи посерели, корень осел. Никто не пришёл, никто не убрал, никто не заметил его отсутствия.

Ивара это не тронуло. Всё, что было в нём, — сейчас, после всего, — было занято другим: тонким, дрожащим, ещё не осознанным чувством, что внутри него что-то *изменилось*.

Он сунул руку за пазуху.

Ветка была там. Обессилевшая, серая, но живая — на самом кончике верхнего листа всё ещё теплился крошечный серебристый огонёк-память. Он больше не вёл его никуда. Он просто был — как свеча, которую задувают, но ещё помнит форму пламени.

Ивар смотрел на неё, на эту дрожащую точку света, и вдруг почувствовал то, что заставило его сесть на табурет у стола, неловко, боком, согнувшись.

Он ощутил *тепло в груди*.

Не то, что бывает от еды или от бега. Другое — живое, изнутри, как будто в нём самом, под слоями привычной золы, кто-то зажёг маленький очаг. Он просидел так долго, глядя на мерцающую точку, и не хотел, чтобы это чувство уходило. И не боялся, что оно уйдёт.

На кухню, скрипнув дверью, вошла Зельда.

Она остановилась на пороге, увидела его, замершего у стола с веткой в руках, и долго смотрела на него — не с той привычной усталой насмешкой, а с настороженным, цепким вниманием. Потом подошла ближе, встала напротив, опёршись на стол сухими руками.

— Ты был мост, — сказала она не вопросом.

Ивар поднял глаза.

— Был, — сказал он. — Где-то далеко. Там, где реки помнят. Где город в пепле, а свет ещё жив. Оттуда тянет озоном… и я.

Он не договорил. Не хватало слов, чтобы рассказать ей, что он видел, что чувствовал, кого встретил. Что целый мир, город с девочкой-стражницей и колодцем живой воды, лежит в пепле — и что он, Ивар, повар, стоял перед ним на коленях и обещал вернуться.

Зельда долго смотрела на него. Потом, медленно, придвинула к нему по столу поднос с засохшими блюдами.

— Ешь, — сказала она. — А потом расскажешь. Но сначала ешь.

Ивар сделал то, чего не делал много лет по-настоящему: взял кусок запечённого корня, откусил, и — впервые — не прожевал безвкусно, не проглотил, не заметив, а *почувствовал*.

Вкус был. Тёплый, пряный, земляной вкус корня, томлённого в трилистнике. Он разлился по языку, по нёбу, по горлу — и Ивар понял, что цел не потому, что ему повезло, а потому, что мир вокруг него, от реки в пепле до корня на его языке, — *полон* вещей, которые можно почувствовать, если перестать бояться.

Он доел корень. Потом ломти мха. Потом огненные орехи. И когда тарелка опустела, он посмотрел на Зельду — она за это время не проронила ни слова, просто стояла и ждала, — и начал рассказывать.

Он рассказал ей всё. Про тьму, что смотрела. Про дикий лес с серебристой веткой. Про реку, по которой плыли деревья. Про мост из стекла и ободранную тварь в тёмной воде. Про пепельный город, про колодец с живой водой, про девочку из видения, что стала стражницей, про осколок в металлических шипах и про то, как он обещал вернуться.

Зельда слушала молча, не перебивая. И когда он закончил, долго смотрела на него — глаза у неё были влажными, чего Ивар никогда не видел у этой сухой, прямой старухи.

— Ты вернулся, — сказала она наконец, и в голосе её была не насмешка, а что-то почти бережное. — Ты, который годами сидел у очага и говорил: «не моё дело». Ты принёс в дом не еду, а… вот это. — Она кивнула на ветку в его руке. — Не растрать.

Она развернулась и ушла, прикрыв за собой дверь, — а Ивар остался один, с серебристой веткой в руке, и не знал, что ему делать со своим временем. Свободным временем. Которое он вдруг, всем нутром, не хотел прожить впустую.

Он убрал ветку в нагрудный карман, поближе к сердцу. Подошёл к очагу — к мёртвому, холодному сердцу своей кухни — и не стал ждать, когда его кто-то раздует. Шестнадцать лет он ждал.

Он сам, своими руками, принялся заново складывать поленья, разжигать трут, искать искру. И когда в глубине глиняной чаши занялся живой, робкий, настоящий огонёк, Ивар почувствовал, как внутри него, в такт, — тоже что-то занялось.

Дальше он не знал, что будет. Не знал, куда позовёт его ветка в следующий раз. Но впервые за тридцать семь лет ему не терпелось это узнать.

Огонь в очаге разгорался. Ивар сидел перед ним на корточках, глядя в живое пламя, и сердце его билось ровно — впервые не от страха, а от того, что называется ожиданием.

Он знал, что вернётся в пепельный мир. Он обещал.

И он знал, что это только начало.

Глава пятая. Эхо навета

Неделя прошла легко, как вода сквозь пальцы, — и Ивар, словно заново, замечал, как она идёт, а не просто терпел её течение.

Очаг горел живым, ровным, настоящим огнём. Ивар сам разжигал его по утрам, сам ухаживал, сам слушал, как потрескивает живое дерево, и не убегал от этого звука в каморку, как приучал себя последние шестнадцать лет, а оставался, нюхал, смотрел, дышал.

Кухня «Старой липы» жила. Вернее, Ивар жил в ней по-другому. Он готовил — не потому, что надо, не по обязанности, а потому что хотел. Рецепты, над которыми он годы назад махнул рукой, вдруг снова тянули к себе. Он вытаскивал из пыльных шкафов старые книги, листал страницы с выцветшими закладками, и пальцы его, помимо головы, вспоминали, как гнуть, парить, томить. Еда выходила у него и прежде безупречной — но теперь в ней появилось то, чего раньше не замечал никто, а теперь не мог не заметить и он сам: живая теплота.

Зельда ходила за ним по пятам, не скрываясь, и смотрела так, будто проверяла, не подменили ли её повара.

— Ты другой стал, — сказала она как-то за вечерним разбором стола, когда Ивар, вытирая руки, смотрел на очаг. — Сонный образ снял. Что с тобой сделал тот мост, а, Ивар?

Он улыбнулся — криво, неловко, непривычно к собственной улыбке.

— Не знаю, — честно сказал он. — Наверное, просто понял, что можно не ждать.

Зельда хмыкнула и не стала допытываться. Но Ивар видел, что она довольна, — видел по тому, как она, по-стариковски, то и дело подходила к очагу и подкладывала полено, хотя он и сам справлялся.

К вечеру следующего дня в «Старую липу» постучали.

На пороге стояла Мирна — пекарь с нижнего двора, широкая, быстрая, с вечно просыпанной на переднике мукой. В руках она несла хлеб, завёрнутый в полотно, и полотно ещё дышало теплом.

— Не благодари, — сказала она вместо приветствия и поставила хлеб на стойку. — Хлеб не для спасибо. Хлеб — чтобы есть, пока тёплый. Остынет — будет просто хлеб. А так он — мой.

Она стояла, не уходя, и Ивар понял: пока он не отломит край, она не уйдёт. Он отломил. Хлеб был с хрустящей коркой и мягким, дышащим нутром — Мирна умела печь так, что тесто дышало в нём ещё час после печи.

— Очаг у тебя зажёгся, — сказала она, глядя мимо него, на огонь. — Слух по кварталу шёл ещё утром. Что ты разжёг его сам, без корней, без надзора. Люди приходили, спрашивали меня — а я в пекарне, мне все говорят. — Она помолчала. — У меня в буфете росток выбился. Из трещины. Зелёный. Я его не сажала.

— Росток? — переспросил Ивар.

— Росток, — твёрдо сказала Мирна. — Я двадцать лет пеку в этом дворе, Ивар. Я знаю, как выглядит тесто, когда оно подымается от живого, и как — когда от страха. Вчера всё в квартале пеклось от страха. Сегодня — от живого. Ты мне лучше скажи: что ты сделал?

— Я просто перестал ждать, — сказал Ивар.

Мирна посмотрела на него долго. Потом кивнула — так, как кивают не слову, а человеку.

— Это, может, и есть самое трудное, — сказала она и ушла, оставив хлеб и запах, который ещё долго держался в кухне.

А за ней пришёл Арон.

Кузнец с моста — сухой, гулкий, с руками, от которых пахло железом и углём. Он не постучал — просто вошёл, как входят к своим, поднял руку и стучнул костяшками по краю очага. Раз. Другой. Слушая, как отвечает гул.

— Гудит, — сказал он наконец. — Живой.

Он сел на табурет и долго молчал, глядя на огонь. Потом сказал — не оборачиваясь, тихо, одним куском:

— Я думал, ты угас. Как мы все. А ты тлел.

Ивар не нашёлся, что ответить. Арон и не ждал ответа. Он допил предложенный липовый чай одним глотком, кивнул — очагу, не Ивару, — и ушёл в вечер тяжёлой, ровной походкой человека, у которого снова есть работа.

Но одно не давало Ивару покоя.

Ветка. Серебристая, серая, с единственным живым огоньком-памятью на кончике. Она лежала у него в нагрудном кармане — и сколько бы он ни носил её с собой, что-то тоскливое, зябкое время от времени поднималось у него под сердце, когда он вспоминал о ней.

Не о ветке. О том, что за ней стояло.

Он ловил себя на том, что вглядывается в толпу на улицах, высматривает пёстрые юбки, звенящие серьги. Он ловил себя на том, что, когда на рынке мимо него проходила женщина в цветастом, сердце у него сжималось и отпускало только когда она отходила. Он ловил себя на том, что боится — и что сам не понимает, чего именно.

«Это не проклятие, — говорил он себе по ночам. — Это ты видел, какой ты есть. Просто слова. Просто старуха сказала, а ты поверил. И веришь до сих пор, идиот. Зола в глазах. Очага не было. А теперь он есть. Значит, она врала. Значит, всё это время это была не она, а ты сам. Ты сам выбрал ждать, вместо того чтобы жить.»

Логика спорила. Но там, где говорило не логика, а то зябкое, давнее, детское, что Ивар носил в себе с того самого базарного дня, — там всё было прочнее, глуше и страшнее.

Однажды вечером, когда огонь в очаге разгорелся особенно ярко и на улице стемнело, Ивар случился у старого подвесного моста, что перекидывался через живую лозу-канал в нижней части квартала. Место это он знал с детства. Здесь, под этим мостом, у поворота, где канал делал крутую излучину, когда-то стояли торговые ряды, и сюда, к этим рядам, Ивар ходил мальчишкой.

Здесь он и встретил её впервые.

Он не помнил, зачем шёл туда в тот день. Помнил только: лето, жара, гул рынка, пёстрые навесы, крики торговцев, смех, звяканье серебра. И вдруг — тишина, раздавшаяся вокруг одного прилавка. И запах: густой, пряный, не ромольский, принесённый откуда-то, откуда в Рамоле не пахло ничем. И голос — тёплый, насмешливый, уверенный, перекрывший весь базарный гвалт, хотя звучал она не громко:

— Мальчик, подойди. Не бойся. У меня для тебя всё есть. Всё, что пожелаешь. Только смотри внимательно, что берёшь.

Он помнил её в пёстром, с серьгами, что звенели на ветру. Она сидела за низким столиком, заваленным всякой дрянью: блёклыми лентами, медными колечками, сушёными травами, обсидиановыми камешками, — но глаза её, когда она подняла их на него, были не глазами торговки. Они смотрели в него, насквозь, как смотрят в колодец, чтобы понять, есть ли на дне вода.

Ивар, дурачок, засмеялся. Спросил, шутя, легко — потому что мальчишеская смелость не знает страха: «А счастье? Моё счастье мне тоже будет?»

Она посмотрела на него долго-долго. И сказала негромко, почти ласково, глядя ему прямо в глаза:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.